

Игорь Шестков "Свидание"

Она позвонила мне на работу. Вечно ухмыляющийся пожилой толстяк Пронов подал мне трубку, сделал большие глаза и проговорил многозначительно: «Тебя просит дама. Но не жена!»

Усмехнулся и тяжело посмотрел на Двинскую. Та в ответ хмыкнула, улыбнулась косо, плечами дернула и произнесла язвительно: «Димочку опять вызывают к зубному врачу!»

А у меня, еще когда телефон зазвонил, екнуло сердце. Она!

Почему мы знаем, кто нам звонит? Тайна! Подумаешь о человеке. И тут же звонок. Или наоборот. Позвонишь, а тебе говорят: «Я только что о тебе думала». Все врут физики. Есть в пространстве неуловимый для приборов эфир, передающий мысли и эмоции живых существ без всякого электромагнетизма. И эфир этот заполняет всю вселенную. Может быть эта та самая невидимая темная материя?

Я взял трубку и, прикрыв микрофон рукой, спросил тихо: «Ты?»

«Я».

И – молчание. Сжал зубы.

Надо было гончих псов со следа сбить. Заговорил наигранным деловым тоном: «Нет, Марья Викторовна, ваша дочь к экзаменам не готова. Я думаю, что надо еще, как минимум, три месяца заниматься. Геометрию подтянуть... да и алгебру тоже».

«Ты, что, что говоришь! О Господи, догадалась. Дура. Ну давай, придумай еще что-нибудь!»

«Неравенства? Это тема трудная. Тут за два занятия ничего не сделаешь. Надо месяцок или полтора утюжить...»

«Милый, быстрее. Сейчас кто-нибудь войдет. Жду. Соскучилась. На Ленинском. Где всегда. У Спартака. Через час. Ты забыл меня!»

«Нет, конечно. Как Вы могли такое подумать? Что вы говорите, Марья Александровна? Завтра контрольная?»

«Знаем мы, как ты алгебру подтягиваешь! И как утюжишь – тоже знаем! Даже

имя два раза одинаково произнести не удосужился!» – прошипела Двинская и посмотрела на меня ревниво.

«Вы правы, конечно надо внеочередное занятие провести. Что? Через час? Не знаю, надо у Леонида Леонидовича спросить. Если он не против, то пожалуйста. Да, в четырнадцать двадцать. На Ленинском. У Спартака».

Теперь шефа надо уломать. Это не трудно. Хотя бывает – разорется по пустяку – не остановишь.

Наш шеф любил шутить. Высказывался иногда очень здраво: «После обеда нормальному человеку надо часок поспать, потом сладкий чай... мда... с грибной запеканкой. А тут сидишь, сидишь, как пингвин на яйцах, и ничего не высидишь».

И сам громко смеялся. Нередко уходил с работы еще до обеда. Когда дверь за ним закрывалась, напряжение само собой спадало. Как после команды «вольно». Приятно, когда за тобой не следят! Можно даже наукой заняться. Наши дамы устраивали чаепитие. И болтали иногда до самого конца рабочего дня.

Социализм – малина для хороших людей. И концлагерь, если энергичные мерзавцы за дело примутся.

«Леонид Леонидович, мне мать моей ученицы позвонила. Просит внеочередной урок провести. Отпустите пожалуйста на три часа. У меня еще два полных отгула осталось».

«Отгулы... За прогулы. Успокоил. Ха-ха-ха. Ну лети, скворец. Давай ей урок «у Спартака»... Да мне и самому пора, надо еще молочка и сырку сынку купить». Шеф – золото! Хотя и не блещит. Бывший летчик – сталинский сокол. Потом ученый. Лауреат какой-то премии. Завлаб и маразматик. Но с сочувствием к подчиненным. Далеко не худший вариант.

Два года назад он всех удивил – женился в четвертый раз. А уже через месяц у шестидесятисемилетнего завлаба появилось прибавление в семействе. Родился ребенок, сын Саша. Странно, но на эту пикантную тему сотрудники нашей лаборатории даже не злословили. Жалели старика. Хотя его четвертую жену, бывшую вдвое моложе детей шефа от первого брака, не любили. Звали ее за глаза лимитчицей. Шептали, что она – «молодуха, старика изловила и в подоле ему принесла ради московской прописки».

Перед тем как уйти, подошел к Двинской, прошептал: «У тебя совесть есть? Все уже обговорили тысячу раз. А ты опять за свое! Зачем ты меня при всех позоришь?»

«Мне противно, когда ты врешь».

«Я не вру, ты же знаешь, что без уроков я на мои деньги ноги протяну».

«Знаю я твои уроки. Ты их мне достаточно... надавал».

«Могу еще дать. Погоди, квартира освободится. Тогда серьезно поговорим. Или, может быть, у тебя встретимся? С мужем любимым меня познакомишь. С мамой».

Заткнулась. Язвит, шипит как змея, а когда прижмешь ей хвост, теряется, слабеет. За это она мне тогда, четыре года назад и понравилась. И с тех пор тянется эта канитель. Давно уже прекратить пора. Тряпка.

Вышел из института. Решил пешком до Ленинских гор дойти. Вдоль ограды. До самой Смотровой. А оттуда на семерке до Спартака десять минут. Как раз успею.

Плохо, что снег на пешеходной дорожке не чистят. По щиколотку. Залезает в бутцы. Ноги промочу. Завтра будут сопли. Черт с ним. Так приятно по холодку пройти. Уже одно отсутствие коллег веселит сердце как шампанское. Каждый день одни и те же надоевшие лица. Не институт, а казарма.

И не темно еще – хочется на свет посмотреть. А то – уходишь на работу, света еще нет, приезжаешь домой – уже темно. А в лаборатории и свет в окнах не радует, такая у нас царит казенщина. Огонь приснопалаящий и тьма несветимая. Да и с самим собой поболтать приятно. Хорошо думается на прогулке. Идешь и как будто из окошка поезда на мир смотришь.

Так о чем поговорим? Конечно о ней! С самим собой? С кем же еще об этом говорить? С женой? Даже с матерью нельзя. Начнет сразу шилом колоть. «Я тебя предупреждала! Женатые все смурные. Если женился, не портить жене жизнь. У тебя ребенок». А сама этого ребенка видеть не желает!

«Не лезь к чужим бабам в постель!»

Да не лезу, рад бы, да не лезу. Где это в Москве можно найти постель? Это вам не Чикаго (там на всех углах постели с чужими женами). Тут Москва. Холод и лед. Даже на лавочку не сядешь – зад примерзнет...

И бабушке тоже нельзя ничего сказать. Сразу начнет подмигивать, намекать. Скажет: «Ты внук своего деда. Что вам не сидится? Гвозди в попе мешают». А потом добавит проникновенно: «Я так жалею, что была всю жизнь твоему деду верна. Как меня любили! А я все боялась, все о детях думала. Дура! Но ты, говнюк, жену люби. Она у тебя золотце. Все делает. Умненькая и миленькая. Говорила я тебе, не торопись, теперь – вот он, локоток, близко, а не укусишь...» А дед, так тот вообще разговаривать не станет. Отрубит только: «Молод еще жене изменять. Будет тебе лет пятьдесят, тогда посмотрим».

Посмотрим, посмотрим. Пятьдесят лет. Это же уже не человек, а придурочная обезьяна! По моим коллегам видно. Бывший комсомольский вожак Сечев жаловался мне: «Знаешь, все эти дела уже в сорок лет прекращаются. Вот так, дружок. Приветик».

Может врал, а может и нет. У него – заведомо все прекратилось. Он целиком в партийную карьеру погрузился. И в покупки товаров. Даже специально поближе к ясеневскому универмагу переселился, чтобы каждый день в него ходить и не пропустить, если что выбросят. После его ухода из лаборатории, мы его письменный стол открыли. И что же? Все ящики были почетными грамотами забиты. Килограмма три одних грамот. И все ему врученные – Сечеву. За то, за се... Его награждали, награждали, а он все эту макулатуру даже с собой не взял. Мы с Двинской тогда весь хлам собрали и ему на дом почтой отослали. Для хохмы. А на обратном адресе написали «Партком МГУ». То-то он злился! Отправили Сечева в свое время на Кубу. Науку для Кастро делать и за другими советскими наблюдать. Стучал он там, я думаю, не только руками, но и копытами. Рассказывал мне: «Представляешь, там на побережье рыба не пуганая. К ней подплывешь, а она на тебя внимания не обращает. Бил рыбу гарпуном, бил. Каждый день, часа по три. Домой волок пудами. Такая красота! Только девать ее потом некуда. Даже кошки хозяйские ее есть перестали. На помойку выбрасывал. Мы не ели, вдруг ядовитая...»

«И не жалко тебе было рыбу?»

«Да что же ее жалеть, она же не наша».

«Не советская что-ли?»

«Что?»

Лучшему другу – Леше, начнешь рассказывать, а он дразнится: «Хомячок, хомячок!»

Это он так Лану прозвал. За толстые щечки. И второй подбородок. Бывает такое у женщин. На теле жира – ни капли. А лицо – полное. Припухшее. Кожа очень тонкая, чувствительная, жилки видно. Родимые пятна везде. Такие плачут по любому поводу. И смеются часто. Истерички. Зато возбудимые. Но зависимые. Ответить огнем на огонь они могут. А сами – как вода.

А Лешка – циник только на словах. На самом деле он мне сочувствует, просто он мою жену очень любит. «Ты, Димыч, – говорит. – Жлоб. А Неля – ангел».

Умный! Женился бы сам на ней. Тридцать лет, а живет один.

Знаю, что моя жена ангел. Но иногда хочется от ангела – к хомячку. Шерстку нежную поласкать. У ангела ведь только белые перья. С ним только о божественном говорить можно. К тому же Нелька любит меня обличать. На слове ловить. Воспитывать. А меня от этого тошнит, хотя она всегда права. И лучше я от ее слов не делаюсь. Скорее наоборот. Нелька не ангел – она мой прокурор. А Лана – защитник. Потому что сама грешница.

По-хорошему – ей на меня наплевать. Все равно, с кем любовь крутить. Сегодня я ей на дороге встретился. Завтра кто-то другой появится. Но это мне не важно. Потому что я – такой же. А может... От этого еще сильнее сердце ноет.

Преходящее чувство... Стрекозиный короткий век.

Познакомились мы с ней на могиле Пастернака, в Переделкино.

Романтично! Мне ребята тогда нелегально «Доктора Живаго» скопировали. Увеличили. У посебовского издания шрифт маленький. Глаза болят.

Прочитал роман заново. Поразило. Только не любовь, не рассуждения, даже не поэзия. А общая линия. Композиция. Свертывание жизни. Уход в небытие.

Оркестрованный как последние симфонии Малера. Темы развиваются и медленно, в игре вариаций, замолкают, умирают. Решил на могилу поэта съездить. Зимой, чтобы не было никого. Приехал, а там – женщина. Стоит у белого камня. Одна. Стройная. Молодая.

«Вас случайно не Лара зовут?»

«Почти угадали. Лана».

Пошли с ней вместе к станции. Доехали до Киевского вокзала. Ей надо было в

свой институт, на Ленинский. Проводил ее. Начали встречаться. Не часто.

Бродили по Замоскворечью. Заходили и в парк Горького, в Донской.

Разговаривали. В теплые дни сидели на лавочке. В холодные – шли в кино. Чаще всего в Иллюзион на Котельническую набережную. Там иногда целовались. У нее была семья, муж, ребенок. Разводиться мы не хотели. Оба были эгоистами. Банальная история. Без продолжения. Без апофеоза. Только со слезами. Так уж получается, все понимаешь, всему ясно даешь отчет. Глупостей не делаешь. И все равно – больно.

Бывало, отживешь день. С женой перед сном поиграешь. А потом, когда все уже спят, только метель на улице воеет, лежишь и мечтаешь. И в мечтах отрываешься от тела. Оставляешь его спать в теплой постели, а сам, свободный, как демон, проходишь сквозь стены, покидаешь свою кооперативную конуру и взлетаешь. И летишь, летишь сквозь ночь. Медленно.

Сначала над кольцевой дорогой. А потом и над железной. Под тобой дома, леса, поля заснеженные. Позади Москва – как светящийся ковер. Наверху – созвездие Ориона. Если захочешь, можно и туда слетать, но что тебе звезды, галактики и прочая пыль по сравнению с нежными глазами твоей любимой? Нет, не туда, а в Переделкино, к старому деревянному дому. В дом, однако, нельзя. Там – чужой мир, там спит Ланин муж и своим храпом отгоняет злых духов.

Превращаюсь в огромную ворону. С зелеными глазами. Подхожу к окну.

Заглядываю в спальню. Каркаю. Стучу клювом в стекло. Лана встает с постели.

И проходит сквозь стену... ко мне. Навстречу зеленому свету. Две огромные птицы взлетают над переделкиновскими соснами. Летят в свое небесное гнездо...

Ну вот и смотровая площадка. Справа трамплин. Слева церковь. Подхожу к гранитному парапету. Москва укутана туманом. Новодевичий монастырь виден хорошо, а Кремль почти не видно. Третий Рим. Первых двух не видал, в третьем – живу. Ну и что? А ничего.

Внизу деревья. Ветки черные, лоснящиеся. Московская графика. Надо идти.

Подошел троллейбус. Люблю семерку за то, что в ней всегда полно свободных мест. Проездной! Сидение холодное, но ехать недалеко. Дворец Пионеров.

Гостиница. Ленинский.

Вон она, стоит на другой стороне проспекта. Шубка приличная. Что это у нее в

руках? Сверток какой-то.

Выскочил из троллейбуса. Побежал. Спустился в подземный переход. Уу... низкий. Теперь замедлим ход. И примем вальяжный вид. Как сердце стучит!

«Лана, милая!»

«Димыч, я тебя заждалась. Пришла на двадцать минут раньше, думала, ты догадаешься и тоже... раньше... придешь. Да не целуй ты, тут наши увидеть могут... Подожди дурачок, пойдем в парк. Да ты что, плачешь, что ли?»

«Нет, я не плачу, это снег на глазах... растаял».

«У меня руки замерзли, согрей!»

Взял ее руки в свои. Розовые. Холодные. Пальцы длинные. Но некрасивые, к концу как бы расширяются. Ногти белые, широкие. Вот эта некрасивость и делает ее руки такими родными. Желанными. У Нельки пальцы породистые, арийские, но они не мои.

Прижал Ланины руки к губам. Дышал, грел их и целовал.

Ушли от шумного проспекта. Вошли в парк.

Красиво. Еще зима, но уже веет весной. Деревья смотрят по-другому.

Просыпаются. Веточки набухли. Снег отяжелел. Местами провалился. В воздухе повисла еще холодная влага. В небе показалась синева.

«Ты чувствуешь. Новая ясность. Чистота в воздухе. Что-то в природе изменилось. Где-то там, под снегом, в корнях и стволах бродит новая жизнь».

Март. В Москве всегда сумасшедший март...»

«Ты, Димыч, всю зиму в Москве провел. У нас в деревне уже в конце февраля первая капля была. Я набрала воды с веточек и умылась. Бабушка говорила, кто первой водой умоется, тот счастливым будет».

«А ты, что же, несчастная?»

«Нет, я счастливая».

«Что ты еще от жизни ждешь?»

«Ждешь всегда того, что еще не было».

«Ничего еще не было, все, все новое... Что это у тебя за сверток?»

«Ах, чепуха. Диаграммы какие-то... Не могла же я просто так уйти! Сказала, что пошла в президиум, потом в филиал, там пообедаю и прочее. Наш Эдуард совсем сдурел. То его неделями нет. Мы гуляем. То прибежит, всех разругает,

обидит, заставит все занаво делать. Ну а потом изысканно прощения просит. Талькиной вчера сказал: «Вы, Людмила Николаевна, приходите вечером ко мне домой и комплект постельного белья с собой прихватите!»»

«Ну, дает. Он бы еще мыло ее попросил с собой взять и презерватив».

«Это он не от хамства. Он просто настолько не от мира сего, что не понимает, что можно говорить влюбленной в него сотруднице, а что нельзя. Талькина два часа плакала и меня терзала. А что я ей могу сказать? Потом она решилась. Взяла белье и к Эдуарду поехала. А сегодня пришла тихая и загадочная. Все наши отделиские бабы у нее пытались выведать, что было. А она молчит. Только краснеет».

«И тебе не сказала?»

«Мне сказала».

«Ну и что он, петухом кричал или икру метал?»

«А ты никому не скажешь?»

«Помилуй, ну кому же я скажу. Я ведь ни твоего Эдуарда, ни Талькину в глаза не видел. Знать не знаю и знать не хочу... Честное пионерское».

«Без крестов, без ноликов?»

«Какие уж тут кресты!»

«Не скажешь?»

«Не скажу».

Тут Лана понизила голос и что-то мне тихонько прямо в ухо прошептала, а потом отпрянула и рукой сама себе зажала рот. Я расслышал только: «И тогда он ее заставил...»

«Да что ты говоришь?»

«Ты представляешь? А ведь ему за шестьдесят. Членкор. Профессор. У него уже сын доцент».

«Ни черта я не понял».

«Не понял и не надо. Много будешь знать...»

Так я и не узнал.

«Мне все это время фильм покоя не дает. Тот, что мы неделю назад смотрели».

«А... Феррери. Диллинджер мертв».

«Ну да. У него же есть все. Свобода. Богатство. Почему же он психует? Жену

убил».

«Ее надо было убить. Она тормоз. Или... символ. Лежит, ноет, в вечном гриппе. В прострации. А тут служанка. У нее воля есть. Интерес. Хотя бы к деньгам».

«Тебе все ля-ля. А меня задело».

«Ничего не ля-ля. Прописная истина – жизнь только тогда приносит радость, когда ты к чему-нибудь стремишься. Только в пути. Работашь. Борешься. Не важно, за идею или за женщину. А когда ты всего достиг, то все как-то само разрушаться начинает. Тут есть что-то, что нам, людям, лучше не знать... о нас самих. Отрицательный опыт».

«Что-то вроде запрограммированного тупика?»

«Да, так можно это назвать... тупик достижения. На нервных людей фатально действует. Например, ты вкладываешь все силы в карьеру, в положение. И добиваешься всего. Но, вот фокус, потом ты сам начинаешь самого себя и все достигнутое разрушать. И приземляешься у разбитого корыта... Потому я карьеру и не делаю... Тошно все заранее знать».

«А почему он горошинки на револьвере нарисовал?»

«Это дань дизайну. Безумию тамошнему. Нас коммуниздия от этой пошлости спасает. Хотя и у нас ситцы в горошек. Но у нас это убого, а там – богато и со вкусом. Но зловеще».

«А ты бы хотел слинять?»

«Не знаю. Не люблю строить планы. Я тоже в прострации... Живу... как в обмороке. Как мы все... Тебя увидел – счастлив. Когда совсем молодой был – хотел пожить в Париже, в Нью Йорке. А теперь на путешествия больше не тянет».

«А куда тянет?»

«Тянет на гречневую кашу с молоком. Шучу, на созвездие Ориона».

«Рассмешил!»

«Хотя... на море тоже иногда тянет. На океан. У меня на учебнике астрономии кто-то из бывших владельцев написал: «Хочу на Луну!», а рядом, другим почерком: «Циолковский – м.дак!»

«Здорово! А ты слышал байки, что Гагарина инопланетяне похитили?»

«На кой же он им понадобился? Пить с ним что ли за компанию? Хотя, все

бывает, может и инопланетяне. Жалко, что они и Черненко с собой не прихватили!»

«Говорят, он уже умер. Только об этом не сообщают».

«Говорят... Может и умер, только, кого же тогда по ящику каждый день показывают? Двойников? Ты знаешь, в телесном бессилии наших старцев есть что-то зловещее. Агония затянулась. На самом деле, эта агония наша. Это мы – бессильны. Это наш, совковский образ. Наш лик. Неужели это будет вечно продолжаться? Тогда нам всем конец. Они нас всех одними бесконечными похоронами до депрессии доведут...»

«Не пугай меня, я о политике даже думать не хочу, Димыч. Боюсь...»

«Плохо то, что она о нас все время думает... Россия сейчас, как и во времена Грозного – огромный языческий алтарь. Тут приносятся человеческие жертвоприношения. Тут терпят. Все мы подошли к какому-то порогу. Еще шаг – и безумие уже не остановить».

«Перестань, не береги себя. Лучше поцелуй меня».

Лана целовала нежно, отдавая себя. Мы прижались друг к другу. Так крепко, как могли. Стояли, обнявшись, как живой столб. Одни на липовой аллее. На холоде. На ветру.

Два часа пролетели быстро. Лане нужно было еще появиться в институте.

А меня разрывало. С одной стороны – хотелось поскорее уйти, остаться одному, ехать домой, почувствовать себя в знакомой роли, как ноге – в старом теплом чулке. С другой стороны – не хотелось никуда уезжать. Только стоять, прижавшись к Лане, стать деревом, срастись с ней, переплестись корнями и остаться тут навсегда...

Тебе скоро тридцать. Пора уже и повзрослеть. А тебя носит как шестнадцатилетнего. Втюрился как пацан. Что теперь – убежать? Упасть на холодную землю? Разрыдаться? Или петь, прыгать, танцевать? Может, купить вина, поехать к Леше и напиться у него? Или, еще проще – взять бутылку портвейна и выпить ее на улице. В одиночку. Фу, как глупо. На большее ты не способен?. Купить... Выпить... Рыдать... Русская загадочная душа... Ни на что не годен...

«Я пойду. Мне надо еще по магазинам пройтись, к празднику что-нибудь

вкусенького купить. В Переделкино нет ничего в магазине...»

«К какому празднику?»

«Ты где живешь, милый! На созвездии Ориона? Через два дня восьмое марта!»

«Черт бы его взял... Тяжело прощаться».

«Что ты? Не смотри так. Я на следующей неделе обязательно позвоню. Скорее всего в среду».

«Целую неделю ждать. А почему не в понедельник?»

«Ты как ребенок. Хочу игрушку и все! В понедельник у нас аврал. Эдуард что-то вроде инвентаризации задумал».

«А во вторник?»

«Во вторник я обещала Талькиной с ремонтом помочь. Она совсем извелась».

«В среду, так в среду».

«До свиданья, милый».

Повернулась и ушла. Только хвостиком вильнула.

А мне... куда теперь идти? Госка заест!

На работу, в стойло? Чтобы там сидеть и демонстрировать. Смотрите, мол, вот он я. Такое же жлобье как вы. Ненавижу все! Домой? Там жена с дочуркой.

Меня там совесть замучает. Буду весь вечер грызть самого себя. И с Нелькой поругаюсь.

Тут подошел сто сорок четвертый. Я обрадовался. Вскочил в него, как разбойник в почтовый тарантас.

В автобусе было душно. Народу полно. И у всех лица как у распятого. Москва – Голгофа. Будь ты проклята!

Отмахал в давке по Ленинскому до улицы 26-ти Бакинских Комиссаров. Кто-то мне говорил, что самые хитрые из комиссаров в живых остались. Так всегда, хитрожопые остаются в живых, а честных – к стенке.

Может быть, поэтому наша жизнь идет наперекосяк?

Мы пытаемся выжать из нее капельки счастья, которое не заслужили. Ведь мы все – потомки выживших...

Через четыре дня сообщили, что Черненко умер. Началось новое время. С Ланой мы встречались еще два месяца. Потом у нее появился новый ухажер, старший

научный сотрудник из ее отдела.

Пронов умер. Канитель с Двинской тянется до сих пор.